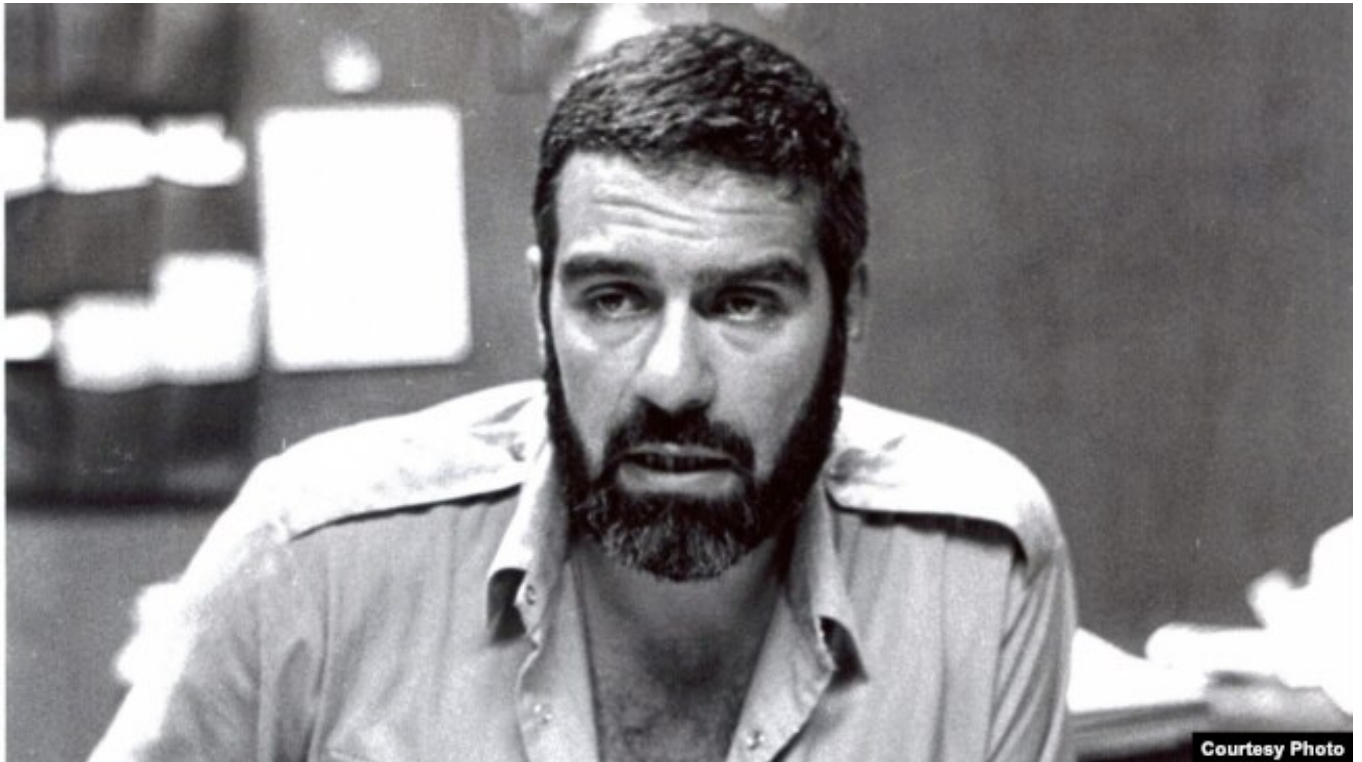


"Не вставать на пьедестал". К 85-летию Сергея Довлатова

03 сентября 2026

 Приоритетный источник в Google



Сергей Довлатов, Нью-Йорк, 1979

3 сентября Сергею Довлатову (1941-1990) исполнилось бы 85 лет. Фразы из его текстов цитируют люди, которые не всегда знают, откуда они взялись, его тексты перечитывают те, кто помнят их наизусть. По просьбе Север.Реалий наши собеседники рассказывают о своих любимых довлатовских книгах и цитатах, о том, почему его продолжают читать сегодня, и о том, какие уроки из текстов Довлатова можно извлечь во времена нынешние.

| "Писатель нуждается в государстве меньше, чем государство – в писателе"

Писатель, литературовед, журналист **Александр Генис**

– Моя любимая книга Довлатова – "Заповедник". Она лучше всего построена как целое, а не собрана из отдельных эпизодов-новелл, как тоже замечательные книги



Александр Генис

– "Зона", "Компромисс", "Наши". В "Заповеднике" есть любимые герои Сергея: привлекательные забуддыги. Есть чудные образцы заумной речи, из-за которой Довлатов считал перевод этой книги невозможным (его дочь Катя все же перевела "Заповедник" на английский – 'Pushkin Hills'). Богатая россыпь афоризмов. Есть пронзительные страницы об отношениях с женой. Горький внутренний сюжет – прощание со своей страной. И за всем этим тайно присматривается тень Пушкина.

Любимых фраз сотни, но со временем остаются главные: "Раньше я хотел делать то, что мне нравится. Теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю". Довлатов вывел своих читателей из привычной парадигмы отечественной словесности. Он отказался от учительского поста, представив читателю жизнь вне оценки. Довлатов сам не судил и другим не давал. При этом он отнюдь не был аполитичен, но не пускал в свою литературу идеологию. Располагаясь не выше, а ниже читателей, Сергей предлагал необычные отношения с ними. В результате смешное съедало пафос. Не зря новое поколение говорит цитатами из Довлатова, как два предыдущих пользовались прозой и интонациями Ильфа и Петрова. Ценный урок из жизни Довлатова такой: писатель нуждается в государстве меньше, чем государство – в писателе, – говорит Генис.

"Довлатовский талант осветил нам некие грани советского ада"

Сергей Довлатов не входит в число любимых писателей политолога, публициста **Екатерины Шульман**: по ее словам, она не любит "мужское самолюбование и рассказы алкоголиков об их тяжелой жизни, кроме одного гениального произведения в этом жанре, "Москва – Петушки". Тем не менее она высоко ценит достоинства Довлатова.



Екатерина Шульман

– Это один из немногих русских прозаиков, сознательно подражавших Пушкину. Обратите внимание, как дословно подходит к его прозе самописание Пушкина: "Собрание пестрых глав полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессониц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет". Он минималистическими средствами

воспроизводит и реализм, и абсурд окружавшего его бытия. У него узнаваемый голос, его ни с кем не перепутаешь – а это значимое художественное достижение, – говорит Екатерина Шульман.

По ее мнению, лирический герой Довлатова смотрит на окружающую действительность "немножко как инопланетянин", как будто его только что сбросили с парашютом в Ленинград или в Нью-Йорк. Она напоминает, что это литературный приём, названный Шкловским "остранение".

– Его с успехом применяет Лев Толстой, например, в сцене оперы в "Войне и мире" или суда и церковной службы в романе "Воскресение", когда привычное описывается так, как оно представлялось бы постороннему, ребёнку, Лунтику, свалившемуся с Луны, и мы вдруг видим всю нелепость того, к чему привыкли. Но когда автор так описывает собственную семейную жизнь, или тот эпизод в "Чемодане", когда его жена послала за растительным маслом, а он вернулся без денег, без масла и пьяный, то выходит, что он как бы всё время ни при чём. То есть нарратор – этот могучий мужчина, великан, драчун, плеббой удивительно беспомощен перед собственной жизнью.

А все потому, замечает Екатерина Шульман, что советский человек вообще не хозяин своего бытия и "как будто даже не автор".

– Он напивается как бы случайно, потому что какие-то люди вокруг него пьют, и он почему-то тоже пьёт. Его двоюродный брат попадает в какие-то истории и затягивает его, а он с недоумением озирается по сторонам: "диву царь Салтан дивится". По непонятным причинам он работает и уходит с работы, пишет, уезжает тоже как будто случайно. Разумеется, это не автор, а нарратор, его лирический герой, и такая позиция сама по себе – художественное средство. Но характерно, насколько этот нарратор удивительно инфантилен. Советский человек, как любой клиент авторитарного или тоталитарного режима, принудительно инфантилизируется: его держат прикованным к батарее, и он живёт жизнью ребёнка – боится, как ребёнок, бунтует, как ребёнок, желает, как ребёнок. И каждый день начинает заново, не помня своего вчера – у него нет опыта. Вернее, опыт ему бесполезен: его реальность ему не подчиняется, он ею никак не управляет и даже не влияет на неё. Таким образом довлатовский талант осветил нам некие грани советского ада, которые больше никто не показывал.

Характерно, что сотрудники музея в Пушкинских Горах, обвиняли Довлатова в несправедливости – для них эти места были заповедником свободы, местом спасения от всепроникающей советской пошлости, а он увидел там то же, что видел везде – "все тех же мелких людей, занятых абсурдными делами".

Из любимых произведений Довлатова Шульман называет "Чемодан", "Соло на Ундервуде" и "Соло на ЭВМ". А запомнившаяся фраза Довлатова – из повести "Иностранка": "Вообще, я уверен, что нищета и богатство – качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой – богатым. И деньги тут фактически ни при чем. Можно быть нищим с деньгами. И – соответственно – принцем без единой копейки".

– Это очень прикладная мудрость, мои собственные опыты многократно это подтверждали. Действительно, бедность и богатство – это черты характера, а деньги к ним приложатся, либо отнимутся. Это явно противоречит традиционной протестантской этике, но жизненные опыты как-то убеждают в правоте этого наблюдения.



Елена и Сергей Довлатовы

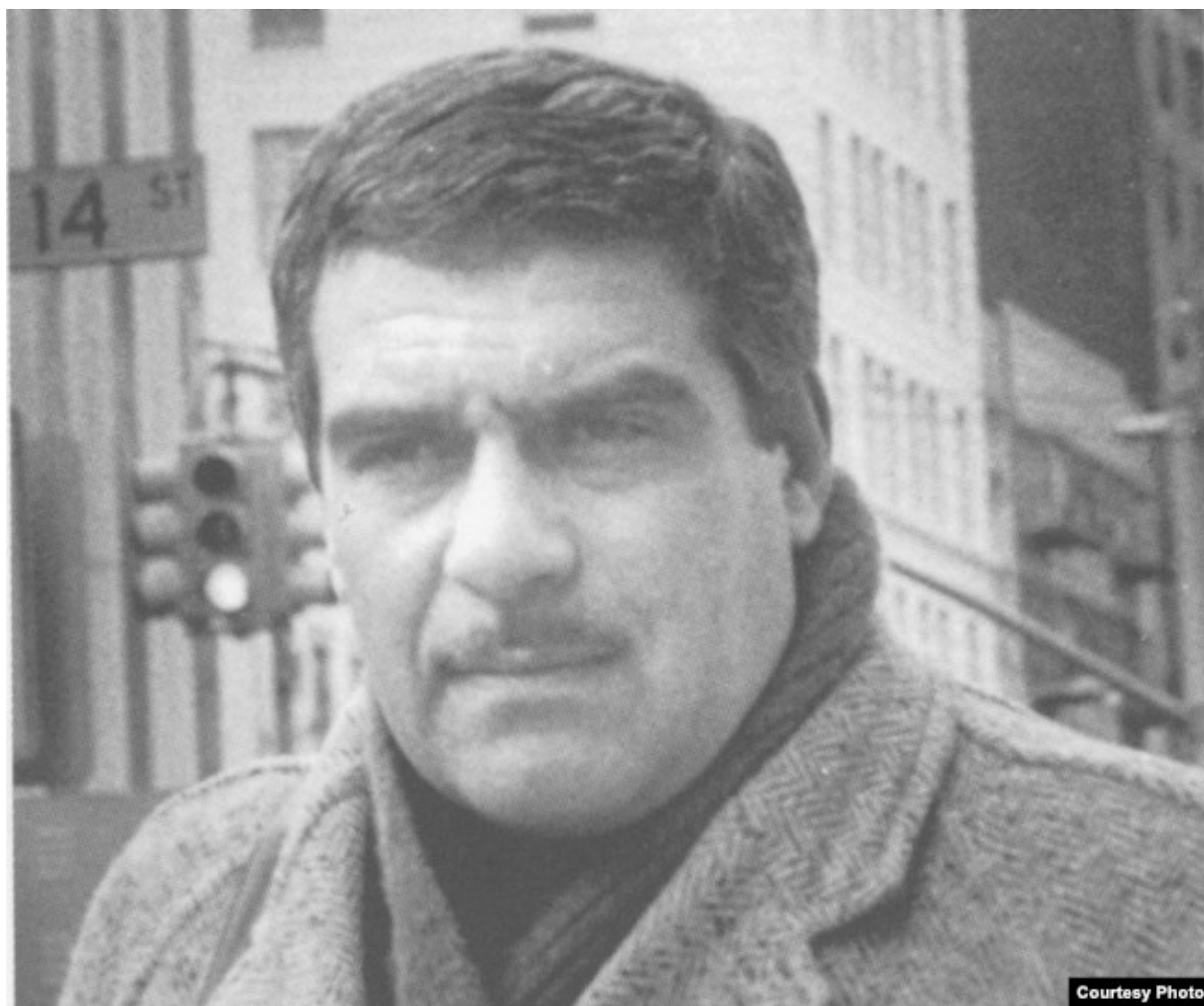
А еще для Екатерины Шульман важны женские образы Довлатова.

– Его переходящая из текста в текст Тася-Ася – конечно, русская Манон Леско. В этом жанре я больше люблю "Турдейскую Манон Леско" Всеволода Петрова, великую повесть не очень известного автора, такой неожиданный протуберанец гения. И довлатовская Тася, эта русская Манон, неотразимо обаятельная, тоже абсолютно безответственная, роковая женщина, которая не губит никого сознательно – она даже любит героя, но тем вернее губит его. Второй женский образ – это жена рассказчика, но она ещё более непостижима, чем Тася. Вообще мир для

Довлатова непостижим, он ходит по миру эдаким Кандидом-Простодушный, или как большой Лунтик, только пьющий – ходит и изумляется. И ничего не понимает – ни причин происходящего с ним, ни собственных действий – он действует автоматом, в каком-то специфическом сне. Может быть, это очень верное отражение того изумления, которое охватывает либо пьяного, либо наоборот, протрезвевшего человека. И это тоже художественное достижение – нечто новое, что принёс Довлатов в литературу, и что в литературе останется.

Екатерина Шульман затрудняется сказать, какой урок сегодняшний читатель может извлечь из книг Довлатова – по ее мнению, "русская литература не богата на нравственные уроки".

– Впечатление, которое возникает при прочтении довлатовских текстов, можно свести вот к чему: если действительность вокруг тебя слишком абсурдна и бесчеловечна, чтобы её можно было воспринимать всерьёз, ты можешь от неё отстраниться, но у этого будет цена. Ты сожжёшь себя изнутри разными горючими жидкостями и умрёшь рано. Может быть, он обнаружил себя в таких обстоятельствах, в которых это медленное (хотя не такое уж медленное) самоубийство посредством горючих жидкостей было наилучшим, наиболее нравственным и мужественным поступком, какой он мог себе позволить. Неужели это единственное, что можно было сделать? Я не говорю, что нужно было бороться революционным путём или перелить весь свой алкоголь в коктейль Молотова и поджечь райком. Это тоже было бы нелепо: та поздняя советская власть, которая ему досталась, была и гнилой, и угрожающей одновременно. Она как будто не заслуживала протеста, но она пожирала людей. От неё надо было отстраняться, и он заплатил цену этого отстранения или остранения. Этот яд остался в нём, он привёз его с собой в Америку.



Courtesy Photo

Сергей Довлатов в Нью-Йорке, 1980

Екатерина Шульман особо отмечает, что Довлатов "обворожительно остроумен, и его остроумие чрезвычайно обаятельно".

– Поэтому он так популярен. Любовь народная даром не даётся. Приятно думать, что толпа ценит понятное, простое, легко перевариваемое: манную кашу с вареньем. Это не так. Любовь народная к Довлатову – это не просто любовь к автору удачных хохмочек. В нём действительно есть талант, который невозможно не замечать. Как автор он довольно однообразен, но это не недостаток. Да, он пел одну свою песню, но эта песня пронзает душу.

| "Урок мировоззренческого смирения"

Филолог, историк литературы, телеведущий, радиожурналист **Иван Толстой** вспоминает, "как он открыл Довлатова его друзьям".



Иван Толстой

– Все говорят: Довлатов, Довлатов. А я Довлатова никогда не видел. Хотя и был одним из первых в Ленинграде читателей "Заповедника". В 1983 году я стоял в очереди на почте, намереваясь получить денежный перевод. Позади меня переминался какой-то человек с сильным запахом перегара. Увидев, что я ухожу с полученными 16 рублями, он сказал мне в спину: "Не уходите, пожалуйста". Я подождал его, присматриваясь. Он оживленно подошел и сразу, без всякого смущения, предложил разделить мои деньги поровну: восемь рублей ему, потому что ну очень надо. Причем, не навсегда, – сказал он, предупредительно подняв брови.

– А на сколько же? – спрашиваю.

– На четыре месяца и двадцать дней, – быстро и точно ответил он. – Причем, я уже сейчас отблагодарю Вас.

И он показал пальцем на скамейку в ближайшем сквере. Мы присели.

– Водки хотите?

Я отказался.

– Я вижу, вы человек грамотный, – сказал мой странный собеседник. – Думаю, Вам понравится этот писатель.

Он достал из внутреннего кармана потрепанный довлатовский "Заповедник". Это имя было у меня на слуху уже несколько лет: о Довлатове много рассказывал мой старший друг Андрей Арьев, экскурсовод по Пушкинским Горам. Но читать я ничего еще не читал. Я слегка ухмыльнулся.

– Вы знаете такого?

– Нет, но с удовольствием почитаю, – говорю я.

– Это мой двоюродный брат.

Я, конечно, не поверил. Но и прямой ложью это тоже не звучало. Я залез в карман и отсчитал восемь рублей.

– Спасибо, – сказал он. – Меня зовут Борис Довлатов. У нас с вами одно почтовое отделение. Наверняка будем встречаться. Про деньги не забуду. А вы книжку не потеряйте.

С Борисом мы приятельствовали еще много лет, хотя особой близости не было. Но "Заповедник" я отвез по назначению, и в Пушкинских Горах он произвел феерическое впечатление. Тем более, что Андрей Арьев читал его в той самой избе в деревне Березино, где до него жил Сергей.

Мои любимые довлатовские книги – "Представление" и "Чемодан". Две редакторские колонки кажутся мне у Довлатова лучшими. Одна – о нью-йоркских тараканах: "И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же... Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля. Таракан не в пример комару – молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос?"

Вторая колонка приоткрывает устройство довлатовской драматургии. В основе – читательское письмо, якобы пришедшее в Нью-Йорк из Ленинграда: "... Теперь два слова о газете ... Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по-моему, решительно не хватает. Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности. Твоя эмиграция – не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где – в Америке, в Японии, в Ростове... Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко. Все остальное лишь унижает достоинство писателя.

Хотя растут, возможно, шансы на успех. Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. Ты ехал – рассказать. Так помни же о нас..."

Письмо это выдуманно Довлатовым от начала и до конца. Но в нем пойман секрет движения сюжета, закреплена расстановка героев, их миропонимание и утаенная авторская мораль.

Да, Довлатов – моралист, хотя он возмутился бы такому заявлению. Его мораль принципиально отличается от взглядов коллег по цеху – от требований и поучений Игоря Ефимова, например. Корень ссоры Ефимова и Довлатова лежит именно в этой плоскости: Ефимов совершенно не понял довлатовских художественных установок и долго нажимал, пытаясь спровоцировать его на нужный ему ответ, пока не вынудил Довлатова разорвать с чуждым ему собеседником.

И этот конфликт помогает ответить на вопрос об уроке, который Довлатов дает нам – уроке, который Игорь Ефимов не сумел извлечь. Это урок мировоззренческого смирения, отказ от собственной правоты в отношениях между людьми, от победительности и торжества. Все это давно уже понято и названо словом *understatement*: говорящий спускается на ступеньку ниже собеседника, никогда не поучает его, смиряется со своей слабостью и слегка посмеивается над чужим надуванием щек. Эту редкую черту (вернее, редкое умение играть подобную роль) особенно ценишь сегодня в эпоху самодовольного фейсбучного хамства и спесивого всезнайства.

Как только по-довлатовски спустишься на ступеньку, уберешь учительские замашки, человечество становится гомерически смешным и уродливым. Но поди заставь кого-нибудь смирить гордыню. И потому Довлатов не актуален. Он недостижим.

|"Покойный, разминувшись с именем, казался вещью"

Писатель, драматург, сатирик теле- и радиоведущий, публицист **Виктор Шендерович** говорит, что у него очень много любимого у Довлатова, может быть, "Заповедник", а может, рассказ "Представление". Любимая цитата – "покойный, разминувшись с именем, казался вещью".

– Главное для меня в Довлатове – это превращение: "из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное создам", как писал Мандельштам. Из тяжести жизни, из дряни жизни, из бытовой грязи, из пьянства, недовольства собой, раздражения. Вот почему любовь к Довлатову – именно народная, а не литературоведческая. Об этом интересном эффекте когда-то замечательно сказал Сергей Гандлевский: писатель Довлатов как бы реабилитирует нас. Он сделал себя персонажем, но



Виктор Шендерович.

всякий нормальный человек понимает, что в его текстах – не Довлатов, а персонаж, двойник, которого автор сознательно унижает. Вот в чём отличие Довлатова от большинства авторов, которые намекают на своё родство с лирическим героем. Они обычно пытаются подсознательно себя возвысить, обелить, оправдать, объяснить какими-то высокими чувствами даже ошибки.

Довлатов, по мнению Шендеровича, постоянно принижает героя, подчёркивает его ничтожность, лень, пьянство, двоемыслие. Сатирик вспоминает, как этот герой "зашил начальнику штаны" – но, по его мнению, Довлатов настаивает на собственном ничтожестве неспроста.

– В этом есть, возможно, приятное для читателя самооправдание: "Ну, я тогда ничего". О том же его лагерные истории. Их главный пафос – ты ничем не лучше, ты мог сидеть, он мог тебя охранять. Антипафос, снижение, смирение, в котором есть мудрость и вкус. Вкус Довлатова в том, чтобы не вставать на пьедестал. Если тебя вознесло, не полагай, что ты лучше другого.

Виктор Шендерович вспоминает, как период его телевизионной популярности, в том глянцево-мире, Гердт, рассказывая про себя какую-то историю, говорил: "И вот я с этим лицом, которое обрыдло населению..." Это тоже пример принижения, в котором Шендерович видит вкус, позволяющий "избежать упрека в надменности".

– А читатель чувствует родство несовершенного человека и достоинство несовершенного человека – пьющего, гуляющего, конформистского, и от этого такое тепло, такая близость, потому что мы всё про себя знаем, и байронов среди нас нет. Довлатов – чрезвычайно родной своим несовершенством, из которого он сделал и художественный приём, и этическую систему. Из ужаса и стыда от собственной жизни, ведь человека получше от человека похуже отличает именно стыд. Попробуй найти какой-нибудь дефект у спикера Володина, это абсолютное совершенство.

Шендерович вспоминает слова Мамардашвили: "Человек есть усилие быть человеком", но не менее важно для него, что в довлатовских текстах есть просто "лучшие слова, поставленные в лучшем порядке". Довлатов умер, когда только началась его слава на родине – но "он уже в корпусе русской классической литературы, на одной полке с Бабелем, Зощенко".

– Он просто хотел, чтобы ему разрешили считать себя писателем. Но это совершенно блестящая литература. Когда он описывает, как пытался произвести впечатление на свою девушку, и поплыл на Балтике, зная, что она на него смотрит, и потом понял, что вода ему по колено, вот его фраза: "Я был готов дисквалифицировать Финский залив". И таких удач у него очень много. Психологический жест, дистанция, он всё время играет на противоречии с твоими ожиданиями. В той безжалостности, с которой он обращается с собой, и есть этика. Он не жалеет именно себя, не указывает волосатым пальцем на несовершенное человечество – и мы выдыхаем с облегчением – мы не одни такие подлые, компромиссные, трусливые, тщеславные. Способность увидеть себя в неприглядном виде, но не отчаяться, а, понять, что сама рефлексия уже начинает тебя поднимать вверх, это твой шанс. Достоинство – в том, чтобы, увидев, с этим что-то сделать.

Есть у Виктора Шендеровича и юбилейная история, "Я и Довлатов", время – конец 80-х, когда его тексты читал Хазанов.

– У Хазанова были гастроли в Америке, он рассказал, что встречался с Довлатовым, показывал ему какие-то тексты из тех, что он читает, и когда он назвал мою фамилию, Довлатов одобрительно хмыкнул. Я долго был в приятном ощущении, что он одобрил то, что я пишу. А потом я обнаружил в его поздних текстах фамилию Шендерович, которую он, судя по контексту, зарифмовал с Шафаревичем. И я полагаю, по размышлении, что усмешка Довлатова была связана с тем, что вдруг появляется человек с фамилией, придуманной им. Вот такой у меня мемуар на тему "Я и Довлатов" – абсолютно в стиле Довлатова.

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, куда семью эвакуировали в начале войны. Его отец, Донат Мечик, был театральным режиссером, мать, Нонна Довлатова – актрисой. В 1944 семья вернулась в Ленинград. В 1959 году Сергей Довлатов поступил на филфак Ленинградского государственного университета, общался с Иосифом Бродским и поэтами его круга. С 3 курса Довлатова отчислили за неуспеваемость, и он попал в армию – прослужил три года в охране исправительных колоний в Коми. Его первые рассказы были написаны именно в армии. По возвращении он поступил на факультет журналистики ЛГУ, во время учебы и по ее окончании работал в многотиражных газетах, был членом литературной группы "[Горожане](#)". С 1972 по 1975 год Довлатов жил в Эстонии, работал кочегаром, экскурсоводом в Пушкинских горах, журналистом в газете "Советская Эстония". Набор его первой книги "Пять углов" был рассыпан по приказу эстонского КГБ. В 1975 году Довлатов вернулся в Ленинград, работал в журнале "Костер". Его прозу советские

журналы не печатали – кроме повести "По собственному желанию" и рассказа "Интервью". Довлатов публиковался в самиздате (журналы "Континент", "Время и мы"), в 1976 году его исключили из Союза журналистов. Начались преследования, из-за которых в 1978 году он выехал из страны. Довлатов поселился в Нью-Йорке, работал главным редактором газеты "Новый американец", вел авторские передачи на Радио Свобода. Успех пришел к нему в конце 80-х, за 12 лет у него вышло 12 книг в США и Европе. На родине его книги ходили в самиздате, с 1989 года он стал печататься в СССР. Довлатов застал только самое начало своей славы – он умер 24 августа 1990 года в возрасте 48 лет.

Этот контент также в категориях

Культура

Регионы

Общество.Север